**Революционер Акакий Акакиевич**

**Руслан Киреев**

Да полно вам, воскликнет читатель, – тихий, забитый Акакий Акакиевич Башмачкин и вдруг – революционер! Ведь он и двух слов-то связать не может, изъясняется, пишет автор, “большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения”. Но так изъясняется он далеко не всегда. В конце повествования читателю явлен другой Акакий Акакиевич, способный на речь довольно-таки связную: “А! так вот ты наконец! Наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! Не похлопотал об моей, да ещё и распёк, – отдавай же теперь свою!”

Из этого пассажа следует, что разбойничал Акакий Акакиевич не абы как, а прицельно, выслеживая значительное лицо, но – внимание! – пока значительное лицо не попадалось, сдирал “со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели”.

Со всех... Всякие... Уже тут принципиальное отличие титулярного советника Башмачкина от собрата по чину капитана Копейкина. (Оба, заметим мы, принадлежали к 9-му классу.) Последний, как явствует из первоначальной редакции повести, изрядно приглаженной автором в угоду цензуре, грабил в рязанских лесах не всех подряд, упаси Бог, а лишь тех, кто ехал по казённой надобности. Одним словом, перед нами романтический герой, выпестываемый фольклорными традициями то под одним именем, то под другим – от Робин Гуда до Стеньки Разина или того же удалого волгаря Копейкина из хорошо известной Гоголю разбойничьей песни.

В Башмачкине ничего удалого, ничего бесшабашно-красивого нет. Благородный гнев против сильных мира сего трансформируется в социальный разбой, прообраз грядущей бесовщины. Впоследствии тот же путь проделают герои Достоевского, но им для этого потребуется четверть века – именно столько времени отделяют «Бедных людей» от «Бесов». Я хочу сказать, что из гоголевской «Шинели» вышли не только первые, но и вторые. А между тем ещё за сто лет до романа Достоевского было замечено: “Нельзя исправить свет злодеяниями и блюсти закон беззаконием”. Это тоже из произведения о разбойниках, его Шиллер написал, и вот уж его разбойники, по сравнению с которыми герои Достоевского выглядят, честное слово, бесятами, – бесы подлинные. Но им сочувствуешь. (Как сочувствуешь и Акакию Акакиевичу.) Их понимаешь. (Как понимаешь и Акакия Акакиевича.) Им даже подсобить охота. Высшая справедливость руководит лесными братьями – от имени самого Бога выступают, в то время как Пётр Верховенский – мелкий подручный дьявола, причём и дьявола-то не самого крупного. Конечно, в шайку Карла Моора Петенька мог бы затесаться, но тут его живо прихлопнули б, как это случилось со Шпигельбергом. “Дурачьё, обречённое на вечную слепоту! Уж не думаете ли вы, что смертный грех искупают смертным грехом? Или, по-вашему, гармония мира выиграет от нового богопротивного диссонанса?”

У кого повернётся язык адресовать подобное Акакию Акакиевичу, тихому на вид, безобиднейшему вроде бы существу, в котором художник Гоголь бессознательно изобразил нечто такое, от чего Гоголь-моралист, разгляди он это, пришёл бы в ужас? Родословную Акакия Акакиевича принято вести не от шиллеровских разбойников, а от пушкинского Евгения, взбунтовавшегося маленького человека, однако знаменитое “Ужо тебе!” адресовано не первому встречному, срывать одёжку с которого благородному Евгению и в голову не пришло б, а бронзовому истукану, то есть символу, идеи. Вверх восходило это грозное “Ужо тебе!”, к небу, а не реализовывалось в порядке самосуда на грешной земле.

Обычно Башмачкина сравнивают с Поприщиным, через запятую ставят, но это не только герои разные, это, по существу, разные литературы. Поприщина в класс натуральной школы не больно-то усадишь, он вырывается из неё, и свобода, которую обретает он в своём сумасшествии, это свобода духа, а не безудержная башмачкинская свобода рук.

Кое-кто понял это ещё тогда. “Какая страшная повесть Гоголя «Шинель», – приводит Герцен в «Былом и думах» отзыв современника. – Ведь это привидение на мосту тащит просто с каждого из нас шинель с плеч”.

Слова эти принадлежат Сергею Григорьевичу Строганову, основателю знаменитого строгановского училища, который хлопотал за Гоголя перед самим Бенкендорфом (а тот, в свою очередь, перед царём) и к которому Герцен (у него – Строгонов) относился с уважением, хотя и иронизировал над его генеральством. Проницательный Строганов словно бы прочёл выброшенную Гоголем фразу из предсмертного бреда Акакия Акакиевича: “Я не посмотрю, что ты генерал”, – этот заземлённый, конкретизированный вариант пушкинского “Ужо тебе!”. Прочёл и добавил: “Поставьте себя в моё положение и взгляните на эту повесть”.

Отчего ж даже самые прозорливые апологеты натуральной школы, видя забитость Акакия Акакиевича, не разглядели его криминальных действий? Или разглядели, но не придали значения? Случайный, решили, эпизод? Ну как же случайный, если уже первые наброски этой петербургской хроники были обозначены автором как «Повесть о чиновнике, крадущем шинели»?

Крадущем – это из лексики дискредитирующей, Гоголь от неё отказался, как, впрочем, и будущие апостолы насильственной перераспределительной системы, заменившие вульгарное слово “кража” учёным термином “экспроприация”. Не к бунту подбивали народ, не к разбою, а “будили”, воскрешали для “активных действий” – воскрес же для таковых (в прямом смысле слова!) почивший тихо Акакий Акакиевич. Воскрес, хотя Чернышевский утверждал, что это “был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный”. Проморгал, выходит, революционный демократ потенциальную революционность гоголевского персонажа.

Обратите внимание: и в голову не приходило тому искать и наказывать ночных грабителей, тех молодчиков с усами, что, не церемонясь, вытряхнули его из драгоценной обновки. Вот она, будущая классовая солидарность! Вот оно, определение врага по имущественному и сословному признакам!

Ещё у Петровича, когда тот объявил, что придётся шить новую шинель, “у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и... он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находящегося на крышке Петровичевой табакерки”. Этот генерал с заклеенным лицом, то есть генерал без лица, генерал вообще, – деталь красноречивая. Для Башмачкина все начальники одним миром мазаны, а между тем значительное лицо “скоро по уходе бедного, распечённого в пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения... И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распекания. Мысль о нём до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что и как и нельзя ли в самом деле помочь ему”. Нельзя, поздно, но вспомним другое значительное лицо, другого генерала, который буквально спас собрата Акакия Акакиевича по профессии, тоже переписчика бумаг, даровав ему, в смущении от собственного порыва (“весь покраснел”), целых сто рублей. Да ещё руку “потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу”. Так свидетельствует Макар Девушкин, прямой, казалось бы, наследник Акакия Акакиевича, его продолжение. Ан нет! Не существует, пишет Тынянов, “продолжения прямой линии, есть скорее отправление, отталкивание от известной точки – борьба”. Тынянов борьбу Достоевского с Гоголем отслеживает шаг за шагом, но делает это на уровне стиля, не касаясь – или почти не касаясь – характеров.

Итак, Башмачкин и Девушкин. Последний тоже безнадёжно беден, над ним тоже подтрунивают сослуживцы, у него тоже отнимают его единственное достояние, чудесную его Вареньку (сравнение Вареньки с шинелью правомерно, ибо, в свою очередь, шинель для Акакия Акакиевича – “приятная подруга жизни”) – отнимают, да, и это для него равносильно смерти: “Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесёт моё сердце такого несчастья”, – однако не энергией мщения, не энергией разрушения преисполнена его душа, а светом любви.

Такой же свет зажигается и в душе пушкинского станционного смотрителя, в ком Девушкин, обратите внимание, сразу узнал себя. Узнал легко и радостно (“Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился”) – Самсона Вырина узнал, Самсона Вырина признал, а от Акакия Акакиевича решительно и даже сердито отмежевался. “Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька...”

Уж не тут ли начинается та самая, в тыняновском понимании, борьба Достоевского с Гоголем? Уж не считает ли сам Достоевский «Шинель» книгой “злонамеренной”?

Не считает. В письме к брату Михаилу он пишет, возбуждённый шумом вокруг своей первой повести: “Им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе говорить не может”. Хотя первые признаки будущего противостояния в письме наличествуют: “Я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берёт прямо целое и оттого не так глубок, как я”.

И всё же в самой повести нет полемики – прямой, сознательной полемики Достоевского с Гоголем, просто гордый самолюбивый Девушкин оскорблён, по мысли автора, тем, что “вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, всё напечатано, прочитано, осмеяно, пересуждено!” Но отчего же, задаю я вопрос, нет подобной реакции на историю станционного смотрителя? Там ведь тоже показано немало такого, что Девушкин знал за собой и чего стыдился. То же, к примеру, выринское пристрастие к рюмочке. Или сцена, когда старик Вырин проникает к дочери и Минский вышвыривает его вон. В сходную ситуацию – и тоже, между прочим, с офицером – попадает и Девушкин. Здесь уже совпадение едва ли не текстуальное. У Пушкина: “...сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу”. У Достоевского: “Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно и не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали”. Тем не менее Девушкин не только не отвергает этой книжки, а просит уезжающую Вареньку оставить её на память: “...вечера будут длинные; грустно будет, так вот бы и почитать”, – «Шинель» же сразу возвращает “голубчику Варваре Алексеевне” и при этом делает ей, чуть ли не единственный раз за всю историю их переписки, строгий выговор: “Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать...” Стало быть, Макар Девушкин уязвлён не тем вовсе, что выставлен на всеобщее обозрение, другим чем-то. Чем? Уж не тем ли, что вытащено на свет Божий нечто такое, что не только от других – от самого себя скрывает? Или пусть не вытащено, лишь уголок показан, но и того достаточно, чтобы добрый христианин в ужасе содрогнулся. Сидит, оказывается, и в нём такое! Сидит и просится наружу (“Господин Быков будет всех зайцев травить”, – бросает – не без агрессивности! – Девушкин), и может, чувствует он, выскочить, как выскочило у преобразовавшегося – после смерти своей – Акакия Акакиевича.

Фантастичность такого преображения не должна смущать нас. “Гоголь был менее всего реалист содержания”, – заметил Аполлон Григорьев, сам же Гоголь писал в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», что фантастическое – это отнюдь не “отсутствие всякой истины, естественности и вероятности”, и «Шинель» в этом отношении произведение уникальное, своего рода перешеек между материком реализма и островками чистого, казалось бы, вымысла.

Выше я сознательно употребил применительно к Девушкину слово “христианин”, хотя ни внешних атрибутов религиозности, ни тем более философских изысканий на эту тему в романе нет, что не мешает ему быть самым, возможно, христианским сочинением Достоевского. Попытки “исправить свет злодеяниями” не опровергаются в нём как в позднейших вещах (энергия опровержения, причём энергия столь неистовая, есть, безусловно, энергия отрицательная), а попросту игнорируются, выводятся за скобки, когда же нечаянная книга открывает Девушкину глаза на вариант подобного исправления миропорядка, то он эту книгу в негодовании отстраняет.

Девушкин и Акакий Акакиевич представляют, безусловно, один тип национального характера, но воплощают две разные тенденции его развития. “Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а г-н Достоевский – по преимуществу психологический”, – заметил в своё время критик В.Н. Майков, но вот парадокс: сам Гоголь, Гоголь-человек, пошёл по пути Девушкина, о котором, пролистав «Бедных людей» (не прочитав – пролистав!), отозвался весьма сочувственно: “...выбор предметов говорит в пользу его (Достоевского. – Р.К.) качеств душевных”. А вот революционная история наша, увы, двинулась по дорожке, проложенной чиновником, “крадущим шинели”.